

ПРОЗА

В юности, в шестидесятые, все трое были знакомы, дружили, читали одни и те же книжки... Судьба одного оборвалась в самом начале расцвета — Вампилов. Судьба второго трагично преобразовала большого писателя в большого витию: Распутин. А вот о третьем, чья жизнь также связана с Сибирью, с Иркутском, — мы знаем меньше. И хотя проза Бориса Черных печаталась во всех центральных литературных изданиях (в том числе в «Огоньке»), этот писатель только сейчас начинает приходить к нам. Ему выпало прожить «драму идей» нашего времени. И прожил он ее достойно. По своей творческой манере, по мировоззрению Черных — «почвенник».

По заказу «Огонька» писатель приступил к документальным очеркам — «Письма из провинции». К сожалению, сокращенный объем журнала в этом году не позволил опубликовать нам книгу целиком. Предлагаем вашему вниманию фрагменты нескольких писем.



Борис Черных и Геннадий Хороших в 101-й камере иркутской тюрьмы. Апрель 1992 года.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Светлой памяти Вампиловского книжного товарищества (1980—1982)

Под сенью Ботанического сада (под сводами духовного Лицея) печаль струилась и сияла радость... От юности неистойвой пьянея,

Мы жили своевольно и строптиво: Любили небо, звезды и деревья, Любили книги — презирали чтиво и понемногу пробовали перья.

Дышалось вольным воздухом отрадно. И в бедном романтическом жилище свой лик запретный нам являла правда (как верно — что находит тот, кто ищет).

А в кабинетах нелюди читали «Тетради» наши, и статьи, и письма, и красною чертою отмечали достоинства исполненные мысли.

И дело двигалось на загляденье споро. И делу дан был ход. И очень скоро вступили мы в круговращенья ада под знаком Ботанического сада.

Наталья СМЕРНОВА

Фото Марины СВИНИНОЙ

Борис ЧЕРНЫХ

ОЗИМИ

Марине П-й

И страждут озими от бешеной забавы... Пушкин

БАЛЛАДА О ДОМЕ Письмо первое

Весной минувшего года в Ярославской городской газете я прочитал о том, что продается в Даниловском районе дом, отыскал объявителя, намереваясь осесть на хуторе и дописать заветное. Помнил я обещание свое рассказать Тебе — в лицах — драму, частью которой была и Ты.

В камере штрафного изолятора, коротая холодные ночи, я рисовал будущую мою обитель кусочком проволоки на бетонном столе. Стол охранники окрасили коричневой краской. Слегка царапая поверхность, я чертил домик, не думая о последствиях, хотя они грянули: за порчу лагерного имущества к десяти суткам изолятора подполковник Федоров добавил еще семь. Но дело было сделано — дом с высокими окнами смотрел с бетонного стола и угревал косточки. Оно, конечно, безумие внутри ада рисовать картины радужного грядущего.

И вот по реабилитации весной 91-го года я получил материальную компенсацию, раскидал долги. На руках осталась толика. И тут объявление в городской газете. Я отыскал Серафиму Николаевну К-ву, подавшую объявление. Оказалось, четверо покупа-

телей уже претендуют на дом. Один, с Северного Кавказа, не торговался. Соперничая с конкурентами, он готов добавить тысяч пять.

Не показывая вида, напротив, делая вид состоятельного человека, я поехал смотреть дом.

Мы едем на «Жигулях» втроем. За рулем Сеня, зять Серафимы Николаевны. Сеня отслужил в Афганистане военным топографом. «Жигули», впрочем, и дом, на смотрины коего я еду, — двухгодичный, или трехгодичный, заработок Сени в фронтовых условиях.

По дороге мы чуть потолковали о том, о сем. Серафима Николаевна трудится завроизводством в областной типографии, где мы печатаем нашу газету, и кое-что обо мне знает. А благодаря союзному и местному радио, «Известиям» среди типографских гуляла неблагая весть о бывшем политзэке, и Серафима Николаевна сказала:

— Борис Иванович, если дом понравится, мы продадим его вам.

Мне оставалось только благодарить хозяев.

В Серкове, притрактовом селе, оставили мы легковушку, чтобы далее идти пешком. У Кравцовых, деревенских, выпросили резиновые сапоги с суконными портянками. Я натянул их и был готов к путешествию. Тропа повела через льняное поле, не паханное еще, в лес, полный запахов прели и талой воды, голоном птиц. Чем глубже уходили мы по тропе, тем все больше нравились мне заброшенность хутора, тишина, первородство трав, вышедших из-под снега. Соперники же мои шли с явным недоумением: зачем их влекут в глухомань? И как добираться сюда зимой или в долгое ненастье летом?

А меня заняла и стала точить диковинная дума. Убежденный противник афганской войны (разящие строки о том есть в приговоре), отбояривший за сопротивление войне, сжимая тощий кошель, я иду в след фронтовику, который получал отнюдь не гроши за то, что вызвался добровольцем в пекло, рисковал жизнью, как рисковал и я, уходя на другую передовую; и он заработал не только орден и медаль, но и деньги, вложил в этот дом, чтобы нынче я передал ему праведные рубли за его, праведное ли, богатство? В России не заскучаешь.

Украдкой я посмотрел на афганца. Он симпатичен. Сеня, с матовым белозубым лицом, с синими глазами. У меня родилось ощущение отцовское: парень давно понял, в каком тупике пребывал он и вырвался из тупика невредимый, зарубки на сердце остались, но мир на земле, золотая стерня убегаем, трубно зверь кричит из лесу посреди России, не в чужих горах...

Скоро миновали мы, следуя нижней тропой, худые дома, и из-за риги и огромного древнего тополя наплыл с холма терем. Я остановился и всмотрелся. Терем тоже, но свысока, смотрел на меня. Нет, подумать не мог я, что в заброшенном селе, на отшибе, может сохраниться листовничный дворец, ни в сказке сказать, ни пером описать. Афганец оглянулся и грустно смотрел на пришельцев: зачем мы тут, на тропе, посторонние люди?

Серафима Николаевна, вздохнув, призналась: — Кабы не даль, да еще брести от тракта, дом наш не отдали бы в чужие руки.

Чужими руками хозяйка подчеркнула жестокость происходящего.

Взяв топор, я вошел в испод, именно вошел, ибо дом на высоком фундаменте, и двери в рост ведут

ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ

туда. Я простучал обухом каждое бревно и всякий раз слышал звон. За тридцать лет грибок не подточил ни одного бревна. Затем поднялся на чердак, там стояли кадушки, набитые пухом птицы. На стропилах висели листья самосада. Я помял лист и услышал дух моршанской махорки — Ваня Додонов, с тамбовщины, угощал моршанской на зоне.

Сойдя, не утерпел я и порылся в хламе огромного сарая, прирубленного к дому. Сарайные окошки тусклены, но скоро взгляд пообвык, я обнаружил — старинные оклады в позолоте и серебре красивы и тяжелы. Здесь же конская упряжь и ботала. Я потрогал — ботала издали мягкий и густой звук, вернувший меня на родимую улицу Шатковскую.

Хозяева затопили печь, приготовили чай. Чечен отказался пить чай, отвел меня в дальнюю комнату.

— Ты, — молвил он, — купишь этот дом? Но у тебя одна жина? И «Волги» у тебя нет.

— Волга у меня есть, — сказал я, — это у тебя нет Волги.

— Дарагой, моя «Волга» лучше. Но если ты не купишь дом, я куплю. У меня три жины, они справятся тут. До свидания, дарагой...

Затем мы договорились, что найду я деньги, кровь из носа.

И началось обморочное лето. Опять я вернулся к самому себе, забытому, ибо взрастить огород в Даниловском уезде это не на газетной полосе приплясывать. А дожди все падают на землю, но мы то и делаем всю жизнь, что выгребаем из ненастья.

Местные крестьяне с усмешкой слушают мои вопросы, когда я иду к ним, но не отгадывают. Две беды ждут хуторянина, если верить мужикам: на картофель падет колорадский жук и пожрет ботву. А устоит ботва, и вызреют клубни, — явится вторая угроза: дикие кабаны. Испытующе всматриваясь я в лица мужиков (не разыгрывают ли, не подтрунивают ли?), но, совершая набеги в Серково за молоком, увидел стайку девчонок — посреди поля они обирают картофельную ботву цыплячьими ручонками, выносят нечисть на тропу, давят босыми ногами. Боже, обереги хутор мой от заморской напасти!

А небо все не проморгается, все плачет, и на капусту села тля. Пытаюсь согнать оккупантов раствором золы, но не тут-то было. Тогда вдруг припоминаю — на чердаке у меня табак, и догадываюсь, зачем. Лезу на чердак, снимаю табачные листья, запариваю. Надеюсь настоем самосада выжить тлю, и что же — на ночь глядя тля уходит неизвестно куда, а поутру облепливает гряды еще гуще вчерашнего, издевается надо мной. В отчаянии пришел в Горьковскую библиотеку, поднял документы за прошлое столетие, попутно вычитывая любопытные приметы былого, и отыскал варварское свидетельство: даниловские мужики побарывали тлю... керосином. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Да нравственно ли применять против тли ядерное оружие? Не лучше отступить, сдаться на милость природы? У нее свои установления, свое дыхание, негоже вторгаться в природу произвольно. Притом, злополучный керосин-то был, наверное, кондиции, почище нынешнего. Но ноги все равно влекут на рынок, к лавке, где покупаю я бачок горючего. Завидев дворец мой, вздыхаю, ибо понимаю кощунственность поступка, но омерзительный вид нашествия подзадрил решимость: я наливаю плошку жидкости, нюхаю — Россия ты моя, не избыть тебе керосиновой горечи — подношу к нежному лепесткам капусты, закрываю глаза, выплескиваю на грядку, мысленно осеняя капусту знаменем...

А клубнику видимо-невидимо осадили лягушки. Со школьных лет я помнил, что нормальные земноводные не едят домашней ягоды, но то нормальные земноводные, а ныне, в десятом поколении, плодятся порода советских лягушек. Впрочем, когда вызреют на огороде красные виноградины помидор (сорт Тамбовский, скороспелые) и вороны станут воровать помидоры, мне придется признать, что Октябрьская революция возымела действие и на ворон. Стало быть, и вороны у нас советские, говоря языком ленинградского репортера — «наши».

Но по утрам к овсяным просыпям выходит лосиха с лосенком, стоит по грудь в тумане, краем поля крадется лиса к помойке, по ночам слышу трезвон (картофельный участок увесил я гирляндами консервных банок, обнаружив запас банок в сарае), выпроваживаю палкой кабанов, явились не заплылись, — жизнь идет на закат, Черных, но это и есть жизнь, а не та, что длит ты в городских коридорах. И если каждый из нас, русских, вернется домой, на подворье, если вспомнит себя в грушевых аллеях сада, — то благо. Демократы тщатся наладить бегущий день, но бегущий день пришел из ночи минувшей. А в той ночи я хочу видеть, пусть призрачно, лики пращуров, и доподлинно надо мне знать, кого выбрал в жены прапрадед Яков и почему на второй срок станичники не избрали деда моего, Василия, атамана. И зачем второй дед, Митя, привез из-за Аргуни китайку, уж не затем ли, чтобы потом, на рубеже тридцатого года, рассориться с Советской властью в прах и уйти за кордон?..

Дом и хутор пробросили тропу в минувшее. Я поновому увидел себя, лицо частное. Но оставалась нечастной боль моя за Россию; и русскую партию — а в ней мои деды и прадеды — увидел я из глубины.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ Письмо второе

Начну с цитаты. Читатель свободен в выборе: читать или не читать заявление узника Красного корпуса Иркутской тюрьмы. Есть толика безумия в пожелтевших листах¹, но я не в силах переменить опознавательные знаки эпохи.

Сохранилась дата написания: 2 февраля 1983 года. Мытарства восьми месяцев позади. Я возвращен по этапу из двух богаделен — Омской и Серпов. Черные розы тюремных ночей опять у моего изголовья. Гэбисты теребят за рукав, они надеются, что я ненароком оброну признание вины. Но они мучают не только меня, но и вампиловцев. Противостояние нравственно безупречных молодых людей, рожденных Ботаническим садом, и опричников длится более полугода. Дубянский и Ковалев наглеют, страна под пятой Андропова, ужесточается режим содержания в камере.

Взрастить сад посреди Сибири — тугоумная забота, но и в холодной Сибири культурная традиция сохранила приемы и способы насаждения садов посреди короткого, хотя и ослепительного лета. Расчищались елани, корчевались леса, натаптывались тропы, строились заимки, торилась дорога. Подражая метрополии, русские принялись украшать быт палисадом — рядом с березой зацвела черная смородина, яблони-дички радовали глаз белой кипенью по весне. Неохотно поначалу приживалась груша-уссурийка. Завозили колонисты сюда саженцы из Поволжья, но после крещенских морозов саженцы зачастую гибли. Но пращуров не сдавались, они скрещивали привозные сорта с местными. Не скоро, но зацвели сады по всей Сибири — на Алтае, под Омском, у Красноярска.

Томсоновским садом прославился Иркутск, у него было и второе имя — Иннокентьевский, по названию станции, теперь это Иркутск-II. Теперь Томсоновский потерял былую осанку, и неблагодарные потомки забыли даже его имя. С первого дня следствия я опрашиваю заключенных, охранников, потом, раскрепощаясь, веду опрос среди оперативных работников КГБ, не преминул выведать кое-что и у следственных, — все поджимают губы. Зэки в молчании несут страдание и боль, а опричники, отмалчиваясь, невольны выдают тайну: отныне в сфере их интересов Ботанический сад университета.

Ботанический заложен в 40-м году энтузиастами-биологами. Дикая дивизия, переброшенная из Забайкалья, взяла сад штурмом, но скоро солдаты и офицеры помогли голодным ботаникам, чем могли. Именно в 41—45-е годы сад обрел силу и широко культивировал лекарственные травы и таким образом вносил ощутимый вклад в победу над врагом. Командир дивизии построил в сосновом бору теплую избу для себя и своей пэпэже, никак не думал он, что однажды его блиндаж возьмут штурмом отборные боевики комитета госбезопасности. Но не буду забегать слишком вперед...

Шли годы и десятилетия. Дендрарий сада втягивал в себя все древесные и кустарниковые виды обширных пространств, появились и залетные породы деревьев, что свидетельствует об известном вольнодумстве ботаников. Во времена краткой хрущевской оттепели в зимних теплицах появилась плеяда субтропических растений, и пока в качестве садовника не оказался рядом с кактусами инакомыслящий имярек, космополитические веяния биолого-почвенному факультету сходили с рук.

На что же надеялся я, покидая городские улицы (надолго или навсегда) и перебираясь в блиндаж командира дикой дивизии? Я надеялся на огород.

Выкопав бурьян с приусадебного участка, я заложил его в приготовленные ямы, натаскал хвороста, утоптал, затем развел костер и поднял над костром двухсотлитровую бочку с водой, довел до кипения, пролил кипятком, закрыл слоем черной земли и поднял теплицу, назавтра прямо в грунт посеяв всю мелочь, а также огурцы, капусту, помидоры. Способ в холодной Сибири почти повсеместный, хотя и не подъемный для ленивого. Результат можете не любопытствовать; и учтите — для запятовавшихся говорю — здесь я передаю дух и букву того заявления, что пошло сначала по коридорам Иркутской тюрьмы, добралось до Чупина, начальника, под микроскопом

¹ Я получил к ним доступ в 1990 году и переписал в здании областного суда, куда 10 томов моего «Дела» перекочевали из подвалов Иркутского КГБ после реабилитации.

изучалось и сочтено было вполне безумным, ну, а коли так, то и переданным беспрепятственно прокурору области.

В тот же сезон пересадил я к избушке моей сирень и сливу, чтобы окружить благоуханием усадьбу. Затем испросил разрешения у директора сада, пришел сын мой Андрей с друзьями, и они перенесли ржавящие листья жести. Я накрыл жестью двор, чтобы в непогоду заниматься плотницким ремеслом. Советов мастеровых я не чурался, но кое-что взял из забытого. Так, перебирая кирпичи дымохода и готовясь к зиме, я неожиданно открыл, что все дымоходы в печи я знал и понимал назначение Верхнего Косьяна (на Амуре у нас Косьяном звался отвод, давший ход дыму в сильные морозы), но начисто я потерял в дороге житейской дружбу с Косьяном.

Скоро пришлось подумать о домашних настойках. Гости стали наведываться все чаще, хотелось приветить их, но крохотной зарплаты хватало на хлеб, соль, крупу да на постное масло (сливочное я в те годы исключил из рациона навсегда, скажу об этом, не хвастаясь). Притом, со мной была Андреева овчарка. Она сыграет свою роль в обороне блиндажа, когда штурмовики обступят усадьбу. Чтобы прокормить огромную собаку, надобно рыбу всегда во льду держать, а с рыбалкой сорвалось. Значит, и здесь минус в бюджете: ежесуточно отдай на два килограмма минтая, или бычков байкальских, дешевая рыбешка и презренная, но шестьдесят копеек в день потратить только на рыбу, а еще и мучное прикупи. О вине ли тут говорить?

Но во время инвентаризации складского имущества нашли мы с завхозом огромные бутылки, наверное, из-под химикатов. Я взял бутылки в аренду, поставил под струю летнего водопровода, затем промыл щелочью, снова держал под ручьем; и ждаю с нетерпением поспевания ягод и фруктов. Лучшие вина дали рябина и жимолость, в Европе жимолости нет, к сожалению. Пасечник Ботанического сада однажды сообщил рецепт времен великого князя Владимира, на меду. Мед покупал я у пасечника по малой цене и ставил еще одно, элитарное, вино, но первый заход едва не кончился для меня смертью, да, да, едва не окоурился я, когда покусился на ранетовое дерево, излюбленное место дислокации садовых пчел. Александр Иванович Ижболдин, так звали пасечника, нарядил меня в маску, в маске я пришел к ранету, поставил лестницу, взобрался и стал обирать ветви, тяжелые от крупных плодов, ярких, будто маленькие солнца. И вдруг на меня напала пчела, прокусила руку. Я имел неосторожность отмахнуться и был наказан. Тотчас окружили тучей пчелы, я попытался бежать, но лестница упала, я вынужденно прыгнул с дерева, кисейная накидка в полете сорвалась с лица, и началось сражение. Обезумев, я мчался по аллеям сада, но пчелы настали и жалили, жалили. Дома я погрузил лицо в бочку с проточной водой, боли отпустили, но вскоре возобновились. Я сделал компресс и забылся сном, но яд, принятый в избытке (в малом количестве пчелиный яд полезен), сделал свое дело. К утру я стал похож на безобразного бая с неведомых тропических плантаций.

На второй год мои урожаи превзошли урожаи соседей в округе, в том числе и у садовских земледельцев, но если садовские кормили огород нитратами, я грамма за все годы хозяйствования не опустил в почву, результат получил двойной: земля стала платить сторицей и... ушли боли, которые давно осаждали предреберье.

Я сбил множество деревянных ящиков, сортировал полученный урожай и только затем опускал в подвал, в подвале мы держали всю зиму (+1—2° — не выше), поддержание необходимой температуры в подвале тоже входило в обязанности садовника. В мае овощи были свежи, как в сентябре. Не буду поминать, что друзья не раз пользовались моими запасами, о родне не поминую. Родня вдруг преисполнилась ко мне почтения — она догадывалась о крепких корнях, староказачьих, но теперь въяве поняла, что род наш знал толк в земле. Само собой, я не испытывал нужды в пропитании, хотя и перешел на вегетарианскую пищу поневолле. Резонно спросить, хватало ли сил, чтобы корчевать сливовый участок или выгребать из старых теплиц грунт, подносить торф. И домашнее хозяйство вести не покладая рук. Что ж, на плантациях Ботанического я работал не больше, но и не меньше, бедных наших алкоголиков, с той великой выгодой для сада, что на меня круглые сутки можно было положиться. Зимой, например, всегда была исправной отопительная система, снабжавшая теплом лаборатории и вечнозеленые растения.

И наконец, я оставил город, битком набитый конформистами. Я перестал раздражать бывших друзей опростившимся видом человека, который ничего более не просит, ни на что не надеется, но, кажется, ничего и не боится.

Но боли за Отечество, за невиданный этот опыт, названный социалистическим, не оставили в Ботаническом, и мне предстояло медленное умирание

в провинциальной глуши. Согревало одно — в смешанном лесу русской литературы я останусь слабой ветвью, но и то честь: унести в гортани горькое дыхание березовых роц Михайловского и тополиных околков Кутулика...

Таким патетическим, да, впрочем, и безумным, заявлением на имя Н. С. Речкова, прокурора области, отправленным из камеры следственного изолятора, я прощался с отжитым и взрывал мосты туда, куда в злом отчаянии они собирались сплавить меня: за рубеж. Еще недавно в запасе у гэбистов была психушка, но Омск и Серпы перечеркнули надежды опричников.

Оставались — этап и лагерь. И тихие, с глазу на глаз, беседы с Христом. Мысль моя западает, я боюсь забыть рассказать Тебе об одной тонкости, постигнутой также в застенке. Глебушка Твой едва ли в Лефортове имел возможность поставить похожий опыт, хотя задача у него и у меня была единой: устоять, но слишком разными были условия содержания под следствием. Когда я окажусь сам в Лефортове, великим покоем повеет на меня. А здесь я вынужден был длить редчайшую и смертельную попытку распознать лицо врага. Жестко — врага, но точно. О, я еще не раз отступлю, оступившись, еще не раз, исполненный милосердия к врагу, буду жалеть их детей, чье будущее они приговорили сами, и говорить не устану об их чадах малых, в сиротстве по миру бредущих, и никому не признаться в том, что отец твой палач. О, горе нам, в эти дни забыли мы о страшном сиротстве детей, чьи отцы мечутся по стране, и никто не приветит их. А удалиться в сад они не смогут, сады исторгнут палачей. Так тонкость заключалась в страшной ранимости этой железной гвардии Феликса, в умопомрачительной их сентиментальности. Они взяли абсолютную власть в стране, оседлав Россию, и это мы должны чувствовать безнадежность и слышать прощальную музыку. Но что-то надломилось в лицах палачей весной 1983 года, или в обществе всеобщее презрение обняло их, — лица их мечутся, они начинают пить люминал прямо в кабинете. Или по своим каналам они уже получили весть о том, что их вождь смертельно болен, и завтра...

Но мной заявлена тема Ботанического сада. Удалимся, покули возможно, на его деляны. Невольно одергивая себя: «удалиться» — не слишком ли громко сказано? В Европе, будучи недовольным общественной жизнью, есть возможность уйти от дел, стать частным лицом, панегирик в адрес которого я имел наивность высказать ранее. В Соединенных Штатах литератор уходит на Уолденские пруды, сидит бирюком, пестуя неприязнь к городу — никого не интересует Генри Дэвид Торо, пока не напишет он «Уолден, или Жизнь в лесу», но сравните мое и его бытование, и вы поймете, что там его частная жизнь — норма, здесь моя — героизм, хотя в герои я не подавал заявки. Но всем ходом дней, всем течением самоотверженных лет я попадаю в изгой; и чтобы не скомпрометировать себя, приятели бывшие, теперь они на разных ступенях социальной лестницы, на всякий случай обходят меня на улице, они боятся быть замеченными рядом со мной, обездоленным, и бросить тень на свою репутацию. Так уход в Ботанический положил сразу черту между мной и Валентином Распутиным. Поэт Сергей Иоффе стал мистически бояться, что однажды я попрошу у него в долг, а отказать он не сможет хотя бы потому, что богат...

Ботанический сад был почти всегда учреждением полузакрытым. Когда Александр Вампилов в пьесе «Прощание в июне» привел сюда юного Колесова, драматург не успел понять полузакрытости сада, но в столь молодом возрасте Вампилов понял полузакрытый характер системы, не терпящей открытых, здесь уместно сказать «славянски открытых», натур. И ректор университета положил изгнать одаренного ботаника Колесова. Действие пьесы, в том числе на делянках нашего сада, происходит на рубеже 50—60-х годов. Именно в те годы изгнан из Иркутского университета юный Леонид Бородин.

Пройдет немного лет, из стен университета с волчьим билетом выпроводят филолога Геннадия Хороших...

Три ректора университета: Рогов, Бочкарев и Козлов — по эстафете спешили донести в органы на Юрия Шервашидзе, светлейшего князя абхазского. Замолчу пока подробности гибели светлейшего (и душу Искандера травить не хочу: он мальчиком был разлучен с Юрой Шервашидзе)...

Когда впервые я пришел в Ботанический вместе с учениками, — а случилось это, дай Бог памяти, в 76-м, — мог ли я догадываться о катастрофе, которая настигнет нас? Мог. Но выбора не оставалось, и мы пришли по найму на все лето, готовили под озими дальние участки, выпалывали гряды, а вечерами у палаток читали вслух Лескова и репетировали сцены из «Гамлета», Саня Лопин играл принца Датского.

Удуще мучило нас. Отголоски борений, связанных с мощной позицией Твардовского и руководимого им



Красный корпус иркутской тюрьмы.

журнала, с жертвенным поведением Солженицына, тлели под слоем золы. Драматический и Театр юного зрителя ставили Вампилова, но «Утиная охота» лежала под спудом. Выпавший из эпохи Зилов преподавал со сцены урок дискомфорта: каждого, кто не примет условия общепринятой игры, ждет... утиная охота, где страждут озими от бешеной забавы, и будит лай собак... — но не дубравы будит лай собак, а политзаключенных на зоне.

Замысел «Озимей» вырос из лая сторожевых собак.

А теперь вернемся опять в Ботанический. Я помянул мимоходом директора сада. Фигура его загадочна. Михаил Васильевич Курочкин окончил некогда с отличием географический факультет Томского университета и в описываемую эпоху был уже изрядно уставшим человеком. Но оставался неизменно кротким с научными сотрудниками сада и со мной, и тогда я начал разгадывать и разгадываю поныне: почему госбезопасность сделала ставку на всеми презираемую женщину Галину Б-ц и отступилась от Курочкина? Ах, сколь неучтиво вопрошание мое! Слышал бы о моем вопрошании сам Курочкин. Мы проводили с ним часы в беседах и чаепитиях, до основ мироздания никогда не поднимаясь, чувство меры у директора сада было превосходное. Выживет ли японская вишня, зимой теряющая половину ветвей? Возможно ли к корневой системе сосны приживить саянский кедр (сказывается, столь странный опыт заложен в дендрарии)? Озимый чеснок, созданный неукротимой фантазией Толи Королева, устоит ли в нынешнем феврале? — сумерничая, мы бормочем у печи или в котельной. Но в кротком взоре Курочкина я прочитываю деликатный вопрос: «Выживешь ли ты, дружок, на корневой системе Ботанического сада? Озимый ли ты по характеру?»

Иногда я угощаю Михаила Васильевича рябиновым вином, он махонькими глотками пьет из тонкого фужера и спрашивает-утверждает: «Дар к домашнему укладу потомственный у вас, Борис Иванович? Или привнесенный бурями? Чудное вино... Накануне ареста директор сада приходит затемно, ждет у калитки (как-то смущаясь, он сказал мне, что мой дом прослушивается), протягивает пачку чая с жасмином, молча и медлительно смотрит в лицо и уходит. Грустный вестник беды, не могущий изменить хода событий. Но следом за арестом Курочкин делает заявление в саду о том, что придет день, «и все рухнет, как карточный домик». Галина Б-ц вспрыгнула тотчас: «Это настроение, чуждое для советского Ботанического сада?» — и читатель припомнит к месту, что где-то слово это слышал. Напомню. На плантациях первого Письма мной открыта советская лягушка. Пришел черед советским кедром.

Михаила Васильевича уволили из директоров под смешным предлогом — в нетрезвом состоянии он бродил по грушевой аллее, полная луна сияла над садом, и Курочкин повторил: «Все рухнет, как карточный домик».

А Королев, а братья Королевы все окапываются в Нахаловке. В майские праздники той трагической весны Анатолий Королев по-царски одарит меня клубнями черных гладиолусов, я высажу клубни в открытый грунт, и за неделю до вторжения непрошенных гостей гладиолусы выбросят вверх траурные стрелы, но во время тотального обыска гэбисты вырвут гладиолусы из гнезд и оставят умирать на грядках.

Королевы пришли в город из Куйтунского района.

Не ломая шапки ни перед кем, они задумали взять Иркутск осадой. У братьев оказался могучий дар оседлости. В Глазковском предместье, на отшибе, где паспортный контроль ослаблен, они высмотрели участок заболоченной земли, огородили бросовыми прутьями и принялись творить дивные дела: от угольных котельных стаскивали шлак, собирали битый кирпич, железные патрубки, проволоку. Затем братья привезли цемент — на цемент потратились — и в десять дней возвели шлакоблочные стены, накрыли горбылем, чтобы в дождь можно было вести работы. Не успев оштукатурить комнаты, поставили к зиме русскую печь, вмазали в нее котел, вварили трубы. Морозы застали юных братьев в теплой большой конуре, по ночлежкам уже не придется скитаться. Когда же я пришел к ним в званые гости, они принимали меня в доме, отделанном по всем правилам искусств: стены покрыты листвяком, листвяк они прижгли для красоты паяльной лампой, пахло магнолиями. В кадрах у окон цвели магнолии. Шторы на окнах. Плафоны струят мягкий свет. На столе в горнице кринка с парным молоком. Фантастика? — Для обленившихся городских мужиков, что ныне стонут по России, оно и фантастика. Но разве не фантастика мое выживание с 90-рублевой зарплатой посреди ледяных пространств Сибири?

Рядом с домом братья построили в два этажа теплицу, стены и потолок закрыли ломаным, бросовым же, стеклом, от домашнего котла пробросили трубы и стали круглый год брать свежие овощи. Младший из Королевых, Михаил, договорился с рестораном «Арктика», к дому подкатывал «уазик» и забирал у Королевых в январе зеленый лук, редис, огурцы по ресторанным, разумеется, ценам.

Заболоченный огород Королевы забросали камнями и сверху навезли суглинка, помешали с навозом. Устойчивые урожаи помидоров стал брать на этом нелепом огороде селекционер от Бога Анатолий Королев. «Да будет врать, — скажет местный абориген, — помидоры не вызревают у нас на кусту в открытом грунте». «Так», — соглашусь я. Но Толя проделал одну забавную операцию — при посадке он ронял стебли к земле, и вповалку помидоры стали вызревать на корню.

Осевшая в Нахаловке по соседству семья устроила натуральный обмен: Королевы снабжали соседей овощами, получая взамен парное молоко; корову и молодняк соседи держали втихомолку, когда приходил участковый, запивали его сливками.

Тоскуя по открытой жизни, я убежал порой к Королевым. Всякий раз меня угощали молоком и никогда вином или водкой. А вы, господа, говорите, что Россия погибнет. Пока есть в России братья Королевы, будет стоять Отечество наше, только бы не мешали народной жизни идти своим руслом, по своим обычаям.

Но не одними Королевыми славен Ботанический. Пятого марта 1982 года сотрудник Иркутского КГБ Кононов получил сообщение, написанное ботаником сада Галиной Б-ц: «В разговоре с А. Королевым Б. И. Черных высказал мнение, что земля должна находиться в частной собственности», — канун драмы. Создатель озимого чеснока Толя Королев пока не догадывается, что попал в поле зрения тайных служб. И уже под арестом я открыл, что оперативная служба комитета ведет расследование, как попал в коллекцию Ботанического сада североамериканский серебристый вяз, сомнительный одним происхождением своим...

(Продолжение следует.)

«И страждут озими от бешеной забавы...»
Пушкин

ТЕМНЫЕ СИЛЫ. Письмо третье.

... Под негласным и гласным надзором в Иркутске находились Сперанский и Луин, — Сперанский, исполняя обязанности губернатора края, — поляки и Петрашевский, князь Кропоткин и в наши дни князь Шервацидзе. Но чтоб под надзором находился североамериканский вяз...

Когда я вернулся с зоны, первым делом навесил Ботанический, чтобы убедиться, не сбежал ли серебристый мой. На месте. А вот дом и усадьба снесены ураганом...

... «Темные силы» — назвал я письмо третье.

... Первый допрос А. И. Степаненко, тогда в звании капитана, учинил мне в 1966 году. Шесть лет жизни остается Александру Вампилову, еще нет у Вампилова российской известности, и исход в частную жизнь лишь предощущается (Зилов в «Утиной охоте» кричит, надрывая душу: «Только там чувствуешь себя человеком», — там, на безлюдье), но мы задыхаемся в одиночных камерах своих квартир. И главный вопрос А. И. Степаненко, тайного «шефа» интеллигенции, о Вампилове: что пишет он? Вижу ли я в буду-



Борис Черных
в 101-й камере
Иркутской тюрьмы.
Апрель 1992 года.
Фото
Марины
СВИНИНОЙ.

Борис ЧЕРНЫХ

ОЗИМИ

Марине П-й

щем и каким вижу Александра Вампилова? Вопросы смутили меня. Ссориться с ведомством я не хочу и готов сказать о лояльности. Но Вампилов?! Быть может, я тороплюсь посадить его на божницу, куда поднял давно Леонида Бородину?

Воздавая должное юному Вампилову, я не мог тогда предполагать, что через пятнадцать лет молодежь Иркутска сойдется и назовет свое товарищество его именем, а Санины пьесы войдут в сокровищницу отечественной драматургии, и меня — по ветряному свею — поведут за созданное Вампиловское книжное товарищество. Но почему в рождественские дни 1966 года вопрос Анатолия Степаненки столь одиозен? Или прощупывается готовность к компромиссу? Гебист знает, что песня моя спета, да. Исторженный из обкома комсомола и молодежной газеты, иду я по чиновным этажам с безнадежным персональным делом о фракционной деятельности.

Стоило ли всесибирского грома Письмо в адрес 15-го съезда комсомола? Соблюдая традицию, Письмо я назвал «Что делать? Некоторые наболевшие вопросы нашего молодежного движения». Единственный крамольный тезис Письма содержит призыв к тому, чтобы треть ЦК партии избиралась от молодых коммунистов страны. Дерзкая и сильная ветвь придаст Центральному Комитету устойчивость от ожирения и будет способствовать реформистской смелости. Напомню читателю — Алексей Косыгин замыслил тогда перевести союзную промышленность в жесткие условия действующего, а не прокламируемого, закона стоимости. Свержение Никиты Хрущева сошло с рук Брежневу и Суслову еще и потому, что обещана экономическая, базисная, реформа.

Сочинить пылкое Письмо немудрено. Письму необходимо придать статус официального документа, конституировать его на областной конференции. Я беру на себя риск и договариваюсь с комсомольскими деятелями Братска, Ангарска, Иркутска. Начало моей биографии.

И все же почему шефа 5-го отдела КГБ интересуют — еще на взлете — Александр Валентинович Вампилов? Отгадка пришла позже и оказалась простой. Однажды в компании московских интеллигентов Саня в полемике неосторожно проговорил замысел будущей «Утиной охоты»:

— Солженицын написал, как в предельных обстоятельствах человек остается человеком. Я хочу написать о другом — умирает, задыхаясь на воле,

человек, полный сил и брожения токов, но сломленный необъяснимой усталостью... — Саня, Саня, прощаясь с иллюзиями 70-й аудитории, как опрометчив ты в открытости своей.

Об этом признании Вампилова рассказал мне прозаик Игорь Минутко. С Игорем Минутко бродим мы по Одессе после просмотра в Русском драматическом театре вампиловской пьесы «Прощание в июне». Что занесло нас в Одессу? На дворе 1973 год. Мы оплакиваем уход Сани и понимаем — нам придется писать и воспоминания о нем.

Упреждающий удар по художнику готовится исподволь, и мутноватая ухмылка на лице Степаненки сопровождает допрос. Что же делаю я? Неразумный, я бросаюсь в атаку, называя Саню надеждой русской литературы и «не трогайте его, Анатолий Иванович, если не хотите запятнать себя», — гебист удовлетворенно пыхтит сигаретой (или беломориной, тогда он задымлял меня беломориной), позывные сходятся в узел: Вампилов потенциально опасен, и надо остановить его.

Это был заговор против литературы. Мутные лица заговорщиков вереницей тянутся из прошлого, я всматриваюсь лишь в самые одиозные.

Так будем свидетельствовать. Не знаю, по чьей инициативе в канун ареста моего А. И. Степаненку перебросили в Монголию (и что он там делает, не умея связать двух слов на чужом языке? За посольскими сотрудниками следит?), и подполковнику Г. С. Дубянскому вменили засучить рукава...

Мы пьем ритуальный чай перед допросом. Я сижу за отдельным столиком, столик привинчен к полу. Дубянский ищет педагогические подступы, и я прошу его рассказать о себе. Оказывается, мальчишками мы приходили в летние дни на Урийскую барахолку — туда, где идет действие урийских рассказов моих — я, чтобы вдохнуть воздух свободы... В сталинскую эпоху барахолка таила в себе сокровенные искры свободы... Дубянский, из состоятельной семьи, приходил сюда за покупками, которые могли мне только присниться. В 1949 году за рыболовные снасти дяди Ильи я выменял двухлитровую кринку соевого масла, а мальчику Дубянскому купили велосипед с красными шинами. Как, подпрыгиваю я, велосипед с красными шинами, один на весь город, был тогда у старого еврея Гольдфейдера.

...Земля ты мой.

Потом Дубянский поехал в Иркутск, чтобы стать студентом юридического факультета. Выбора у Дубянского (и у меня несколькими годами позже) не было: от Тихого океана до Томска единственным университетом был тогда Иркутский.

Второй следователь косноязычной скороговоркой говорит о себе: «Следователь ОВД», — на скорости из ОВД¹ получалось по Юрию Домбровскому: «ОВОД». Правда, прозвище Овод в «Факультете ненужных вещей» дают сломленному в борьбе и ставшему осведомителем арестанту. Овод Владимир Ковалев, росточка махонького, с комплексом физической неполноценности, но крепкий боровик, выучился, как и мы с Дубянским, у Пертца и Ческис. В 1987 году потерявшие страх одинокашники Овода расскажут мне: Ковалев по затемненности ума, стесненного к тому же нежеланием лишний час провести в губернаторском доме (в резиденции Муравьева-Амурского, генерал-губернатора Восточной Сибири, размещена Научная библиотека университета, колыбель провинциального младогегельянства), невероятно обидчив и злопамятен. Упертый в азбучное, он боится воздуха абстракций. И то, что из сотен сотрудников разбухшего аппарата областного КГБ именно Ковалеву выпало стать Оводом, знаменательно. На самый крайний случай доверили бы особый участок Юрию Гуртовому, стрёмному коню, это Гуртовой искал компромат на североамериканский вяз в Ботаническом саду, — но выбрали в Оводы Ковалева. Бедная Россия, бедная провинция...

Когда Овод косоруко представился подследственному в досточтимом своем качестве, я сделал демарш: письменным заявлением вызвал прокурора области, явился Н. Ф. Луковкин, зампрокурора по надзору за КГБ. «Проводите ли вы, Николай Федорович, — спросил я, — инструктаж со следственной группой? Если проводите, почему Владимир Иванович столь неумел в обращении с подследственным? Почему он грубит? Почему задает глупые вопросы? Вот пристал, зачем женщины чистили дворик от снега. Что ж, по сугробам ходить было?»

Н. Ф. Луковкин отвечал гримасой: «Да где мне взять другого ОВД? А если я найду доку, все равно он Канта не читал и Ленина цитировать на память следом за вами не сможет». — «Зачем же затеяли дело, если сил нет на него?» — «А я его затеял? Они его и затеяли!» — проворчал зампрокурора области и ушел раздраженным. Овод сник, да ненадолго, сорвался он скоро на истерический крик: «Иносказанием мы не позволим заниматься вам, не на симпозиуме». Я поправил его: «Не на симпозиуме», — через десять минут в наручниках меня повезли из КГБ в тюрьму, там держали в грязном боксе, вырешивали степень мщениа, кару определяли, затем вели по долгим вонючим коридорам и втолкнули в камеру, где ждали меня рецидивисты с полосой лба такой же узкой, как у Ковалева, с хищными глазками.

¹ ОВД — следователь по особо важным делам.

— Ну ты чё, антисоветская рожь, — спросил убийца, шедший на вышку за расчленение трупа любовницы, — чё ребят наших мучаешь?

— Ну ты чё, антисоветская рожь, — спросил убийца, шедший на вышку за расчленение трупа любовницы, — чё ребят наших мучаешь? — Невольно я рассмеялся. Странно, смех вызвал симпатию у охолтелой компании. По-своему это объяснимо: они, получив указания и инструкции, ждали страха и паники с моей стороны, а тут на тебе.

— Мужики, все наоборот, — сказал я. — Это ваши ребята отпетые антисоветчики.

— Чё говоришь! — вскричал атаман. — В КГБ антисоветчики?

— Отпетые!

Они посмотрели друг на друга и задумались. Истосковавшиеся по вестям неординарным из мира законного, господа уголовники искали забвения, патристические настроения только мешали рецидивистам вникать в простые истины, принесенные политическим, пришлось потратить несколько уроков, чтобы перевоспитать мужиков...

Свидания же наши с Оводом не приносили радости. «Почему у нас ничего не получается? — сожалеючи, задавал я вопрос Ковалеву. — Андропов уволит вас. Все-то у вас невпопад, и скудно, и угрюмо. Иль вы «Казаков» не читали?»

И Овод попался в очередной раз:

— Антисоветскую литературу не употребляю.

Я было рассмеялся, но затем открыл наконец, что действительно старая русская литература разделена им на советскую и несоветскую, и Овод здесь неизменно оригинален. Но как тогда прочитывает он новейшую литературу?

— Владимир Иванович, а «Пир Валтасара» вы изучили вдоль и поперек? Согласитесь, у строителей социализма славные вожди. Сталин понравился вам в «Пире»?

— Сталин мне повсюду нравится, — отвечал Ковалев.

Но, сообразив, что я вывожу разговор на любимого мною Искандера, чья рукопись взята при аресте, зло мигнул и стиснул зубы.

Но, будучи под арестом, я узнал от Овода, что Комитет каждый год в декабре празднует день рождения Сталина. И не наш ритуальный чаек пьется на сталинском дне рождения. Солдатская шинель, жесткая койка, неприхотливость в пище поминаются каждый раз ханжески, от сталинской скромности ничего не осталось в сем логове...

Еще открытие. Расстрельный подвал под зданием КГБ и МВД находится здесь же, в средостении улиц Литвинова и Дзержинского. Замахиваются нынче вернуть этим улицам старые имена, а зря, зря. Да той же улице имени Феликса куда возвращаться? Она называлась именем графа Кутайсова, затем Арсенальской, затем Льва Троцкого. Нет уж, снизойдите, современники, оставьте в топонимике Иркутска тяжелые знаки эпохи.

— М-да, — итожил скоро мой поединок с Оводом генерал С. С. Лапин (два «С» — Степан Сергеевич), — нашла коса на камень.

Генерал привезен в область новым секретарем обкома партии Ситниковым. Практика апробированная. На милой родине моей та же история — Первый (Шарин) привез облассанного еще в Приморье гебиста В. Клёцкина, чтобы жить с КГБ в обнимку. Так и здесь: Василий Иванович Ситников шага не делал без закадычного друга и, когда бежал в Монголию, в так называемые дипломаты, издали посматривал в Иркутск, пытался вытребовать Лапина к себе, но пришел черед бегать Лапину — в Москву, под крыло Крючкова. Шилова с Амура прятался и спрятался под зонтик Лукьянова, в Верховном Совете. Но и Лапин, и Шарин выгоду соблюли — в столице их ждали квартиры и дачи и, что немаловажно, забвение темных трудов. Ситников же завез на Байкал и судью карманного, В. Чернова, все восьмидесятые годы Чернов вел в Иркутске политические процессы, а Лапин об руку с Ситниковым на встречах с народом, в огромных аудиториях, соответствующе комментировал, призывая массы к бдительности.

Я всмотрелся в Лапина. Портрет изобразил человека из народа. С. С. Лапин провозгласил — на словах — гуманность в обращении с инакомыслящими. Сергея Боровского не повели по 70-й статье, вот и гуманность. Выкрутил руки и измёрдовав, взяв десять подписок, выпустили на волю Сашу Панова, он вместе со мной создавал Вампиловское товарищество, и держали на привязи до 1987 года. Приняли решение исключить из университета моего сына Андрея, но по настоянию, причем публичному, позволи-

ли защищать диплом. Гуманность! Но Юрий Гуртовой прыти не сдержал, инсценировал на улице города столкновение Андрея с дружинниками (повязочки надели агенты комитетские), Андрея схватили и сутки продержали в КПЗ. Андрей выдержал испытание, но оскал гуманистов запомнил на всю жизнь.

В перечень двусмысленных деяний генерала С. С. Лапина войдет и встреча с Валентином Распутиным. Именно после этой встречи произошел надлом в мировоззренческой ориентации Распутина... По возвращении с зоны я приду к Распутину, бездомный, с просьбой позвонить в областной Совет (не дадут ли комнату в общежитии, буде дом в саду сожгли, он, передернув плечом, скажет: «Не сердись, но я должен спросить об этом в КГБ». — «Да о чем ты должен спрашивать в КГБ?» — «Они лучше посоветуют, как тут быть». — «Да они — напротив — помешают». — «Ну, я не могу иначе...»). Я ушел растерзанным и больше не приходил к нему.

Генерал Лапин олицетворял триумф Комитета госбезопасности на сибирской земле, и в эти дни торжествующий Овод, усугубляя тяжкое мое настроение, сообщил, что беда вошла в Твой дом, Марина (взяли Глеба), а в Ленинграде взяли Ростислава Евдокимова, сына каперанга, талантливого поэта и филолога, и идут аресты в Киеве.

До тюремных камер докатилось безумное известие — новый шеф МВД Федорчук в бронированном автомобиле выезжает к Манежу и хватает за руку парней: «Студент? Поч-чему не на лекциях?!» И неопровержимо узналось: идут облавы в Иркутске. Внезапно во время сеанса зажигается свет, люди в штатском перекрывают выходы из зрительного зала, и начинается опрос: кто, как, почему во время рабочего дня столь вольготно чувствует себя? И далее: почему пьет кофе и ест мороженое? Завивает волосы и бреется в парикмахерской? По какому праву до обеденного перерыва женщины шастают по Урицкого (Торговый центр Иркутска)? Все это идет на мертвенном фоне гражданского авиалайнера, сбитого вместе со стариками и детьми над водами Татарского пролива...

О чем мы будем говорить с господином Лапиным?

— Борис Иванович, а как вы относитесь к Юрию Бондареву? — И, выслушав мой ответ, окунается в велеречивость: «Бондарев концептуально прав, у нас есть право гордиться достижениями», — генерал делает провокационную выступку. Чтобы там, вдали, иметь возможность, иметь право сказать то, что я сейчас скажу, я говорю ему там, в тот час:

— У нас нет достижений, Степан Сергеевич. Гибель русского народа...

— А я принципиально не согласен. Новая общность советских людей. Интернациональное братство. Любовь передового человечества к стране победившего социализма.

— Вы называете то, что есть, победившим социализмом?

— Бесспорно, дорогой Борис Иванович. Потому-то, кстати, мы сочувствуем вам. Предубежденность былая ушла, мы поняли — вы советский человек, но со своеобразным взглядом на мир. Да, а Ежи Ставинского вы читали, конечно?

— Читал, и вы знаете об этом. Но к польской «Солидарности» Ставинский не имеет отношения.

— Мы хлеб не зря едим. Нам о Ставинском известно другое. Ну, держитесь, Борис Иванович...

Встав из-за стола, мы пошли к выходу из кабинета. И уже на флажке Лапин добро усмехнулся, мужицкое начало высветилось и проступило наружу:

— Борис Иванович, а почему вы считаете, что подследственные евреи — осведомители КГБ, так сказать? Неужели вы антисемит?

— Зная, что я не антисемит, вы пытаетесь через ваших евреев кое-что разведать у меня. Но работать они не умеют, милостивый государь.

— Да вы заблуждаетесь, уважаемый Б. И. Оперативная служба тюрьмы ведет свою работу, в том числе среди евреев. Мы не касаемся тюремной епархии. Ну, не гневте душу, Б. И., я рад был беседовать с вами. — Лапин протягивает толстую руку простолудина.

В приемной чистотлицы молодой человек цепко всматривается в меня. Глаза его совершенно безжизненны. Я притормаживаю и всматриваюсь в маску. Запомнить бы. Не знаю зачем, но запомнить бы.

Много лет спустя на собрании ученых в Академгородке я внезапно признаю в триумфаторе того чело-

века, что сторожил мой выход в приемной генерала Лапина, но воспрепятствовать ему не смогу. Он станет депутатом России.

СВЕТЛЫЕ СИЛЫ. Письмо четвертое.

...Давно хотелось мне оказаться лицом к лицу с господином Дубянским. В течение долгих лет Дубянский занимался досмотром за моими друзьями, собирал «компрометирующие факты», не брезгуя бытовыми подробностями, многих успел запугать, вызывал на так называемые профилактические беседы, требовал письменных объяснений.

В архиве КГБ сохранились отвратительные бумаги — если в минувшем году, чувствуя угарный запах, Гуртовые не успели сжечь их. И меня, разумеется, возмутило, когда матерый Дубянский решил загордиться необстрелянным Петей Мазанниковым.

Петр Мазанников приходил на допросы чистеньким, в белой рубашке. Золотое колечко с безымянного пальца било в глаза светлым лучом. Костюм модный, наверное, вся родня собирала по рублю, чтобы одеть парня, ведь куда идет служить, в какие высокие сферы. Сам Мазанников постоянно думает о важности происходящего и светится, но скоро начинает тускнеть на глазах...

Вижу — молодой Петр Мазанников если и любит меня (жертву можно любить любовью истязателя), то прежде всего — как персонаж героической своей судьбы. Мазанникову дадут медаль за меня, а Дубянскому и Оводу — ордена и внеочередные звания, и хотя бы за медаль стоит быть почтительным и вежливым и просить у Бориса Ивановича прощение за неделikatные вопросы.

Осенью восемьдесят второго года старший лейтенант Мазанников совершает опрометчивый поступок. В его присутствии начальник следственного отдела областного КГБ Герман Дубянский напыщенно, с дрожью в голосе, зачитывает постановление об этапировании в омскую психушку.

— Вот и вся игра ваша, — роняю я. Дубянский никак не реагирует и приказывает Мазанникову отбыть в отведенную комнату, где ждать вызова к автомашине. Все достаточно необычно и тревожно, я не выдерживаю и спрашиваю: «Что же, спецназом меня повезут прямо в Омск?» «Самолетом, ближайшим притом», — отвечает Дубянский. Что-то поджаривает гебистов, или торопятся сплавить меня подальше и навсегда.

Мазанников выводит меня в коридор и через коридор в кабинет, похожий на камеру-одиночку. Стол, два стула. Окно во двор, широкая решетка без намордника (намордником называют жалюзи). Здесь я коротал немало часов между допросами и привык к одиночке. Знаю, что во дворе Комитета никогда курицы живой не увидишь, но зато небо, пусть в решетку, но просторное и далекое, ласточки накануне дождя простреливают облака.

Мы усаживаемся, Петя угощает хорошей сигаретой.

— Почему почет такой, Петр Николаевич? Не «столыпиним» выпроваживают, а Аэрофлотом?

— Если «столыпиним», — отвечает Мазанников, — начнется утка информации.

Плохи твои дела, Черных, думаю я, если замыслили спрятать тебя в чужом городе и без свидетелей. Но могли бы и не объявлять и постановления о направлении в Омск. Зачем объявили?

— Вот и вся игра, Петя, — повторяю я.

— Вдруг это к лучшему, Борис Иванович?

— Нет уж, лучше зона, даже уголовная, и карцер, а не психиатрическая больница.

Мазанников подходит к окну, стоит молча, наблюдая за двором, и неожиданно, извинившись, уходит. В дверях клацнул ключ. Шаги Мазанникова замирают по коридору.

Теперь я подхожу к окну, двор привычно пуст. Но внезапно я вижу — две совершенно «инопородные» женщины, измазанные известью, волокут ведра. Следом маляр, в дряхлом комбинезоне, несет кисти. Я подставляю стул, пытаюсь открыть форточку напроць, форточка отпирается наружу. Бросаюсь к сто-

лу, на столе бумага и карандаш. Я пишу записку: «Иркутск, люди добрые, отнесите сразу писателю Дмитрию Сергееву. Улица Лермонтова, 97, кв. 34. Дима, увозят в Омскую психушку. Борис Черных», скатываю в комочек и снова жду оказии у окна, поднявшись на подоконник, при этом слушаю коридор. Тихо. Бабы опять несут гашеную известь. Сильным шепотом (вдруг в соседних комнатах люди, и окна приоткрыты, услышат) окликаю: «Бабоньки, бабоньки!» — женщины стреляют по окнам, видят изможденное лицо очкарика в решетке окна. Выдернув руку в форточку, бросаю со второго этажа катышек в ноги. Напугавшись, женщины быстро уходят. Идут томительные минуты. Я запер форточку и притаился у косяка оконного. Вечность стучит в висок. Идут на пару мужик и баба. Мужик умело роняет кисть и поднимает ее вместе с катышком. (О, Русь моя!)

Слышу шаги за спиной, отхожу от окна.
— Отбой, — сообщает Мазаников, — в порту нет горячего. Дожили.

Хожу по колчаковским местам, думаю я молча. Незадолго до ареста сын, будущий историк, добыл из спецхрана стенографическую запись допроса адмирала Колчака. Вместе с Дмитрием Сергеевым, Геннадием Хороших и Андреем — по цепочке — мы читаем бесценные свидетельства. Прост и пространен в ответах Колчак, он понимает — дни его сочтены. И Озими свои хочет оставить для России. Когда насытится она кровью и пробьет час внять горьким истинам — прикиннет к роднику и запоздало узнает, что не тем богам поклонялась.

Международным лайнером, шедшим из Сеула на Москву (для сеульского рейса отыскивали горячее, я так понял высокую честь, оказанную арестанту), привезли меня в Омск. С охранниками в штатском, я все равно бы осовел от блеска и шума чужой жизни, от итальянской и английской речи.

В Омске по лицам иркутских эмвэдэшников я вижу — они сердечно переживают за меня, да и за себя тоже: ведь это им поручили неблагоприятную роль — сдать человека в пыточный околоток. Старшина Вострюков, в застойных морщинах, полуобнял клешней, когда, в полосатой робе, вывели меня в коридор, чтобы засвидетельствовать окончательную передачу политзэка в руки психиатров.

Сутулая крестьянская спина Вострюкова мелькнула и скрылась из глаз. Упав в белые простыни, стал я усиленно призывать Спасителя.

Камеру, или палату, куда заперли меня, днем держали на ключе. Ночью, открыв дверь в коридор и закрепив на цепь, милицейский охранник дремал в мягком кресле, наблюдая в щель за поведением узника. Но в палате я был не одинок, соседом выпал человек странный, фамилию помню смутно, поэтому назову его Евгением Трусовым (близко к оригиналу). Сойдясь поближе, или, во всяком случае, настолько, насколько позволяло наше состояние, я узнал, что у Евгения есть веские основания подозревать жену в трансцендентальном превращении. В одну из ненастных ночей Луиза, жена Евгения, обратилась в грифа.

— Боря, врачи не верят, что она превращается в грифа.

По животу у нее сизые перья. Я доктора прошу — схватите ее внезапно и осмотрите, у нее бедра заросли перьями...

Она обратилась снова в человеческое обличье и пытается одурочить психиатров. Но, клянусь, я никогда не подойду к ней. По животу у нее сизые перья.

Днем выводили нас в своеобразную курилку, в туалет, за сигаретой познакомился я с двумя афганцами. Из пепла боев они угодили в военный лазарет, но следом сюда. Афганцы, оба сибиряки, вели себя чрезвычайно воинственно, они считали, что за службу Отечеству должны им создать привилегированные условия, где бы ни находились они отныне. Союзник мой стал пылко доказывать, что его положение ничуть не лучше и что ему тоже причитается от государства.

— А ка-ко-е у те-бя по-ло-же-ние? — с подвывом спросил старший из фронтовиков, сержант, награжденный орденом Красной Звезды.

— К-ка-кое по-ло-же-ние? — переспросил нервно сержант.

— А такое! К вам по ночам духи влетали, а ко мне черная птица. Духи-то в человеческом обличье. А мне каково?! — Евгений ярим оком уставился в фанатичное лицо фронтовика.

— А тебе такое! — захлебнувшись ненавистью, крикнул афганец и ударом правой разбил Евгению лицо, тот упал, кровь хлынула изо рта, мы возроптали, нас разогнали по палатам. Пожилая нянька обмыла Евгению раны и смазала йодом, он забылся сном после укола.

Сыновья твои, Россия, потеряли себя и безумству ют.

Назавтра за афганской атакой нас не трогали ни врачи, ни санитары. Я принял за гончаровский «Обрыв», тишина начала нисходить, но Марк Волохов мелким бесом закружился, и недуги страны,

словно раны, пооткрывались. Напрасно ищем мы корень и причину бедствий национальных в 1917 году. Все идет из глубины столетий, — думалось мне, — там заварилась взрывная смесь европейских и азиатских установлений, и всякий раз попадаем мы впро- сак, едва доверяемся европейскому духу. Уж не нарочно ли доктор принес «Обрыв» — чтобы занедужил я, тоскуя по той России, где дорога к Волге шла проложенными взвозами, но не через обрыв Марка Волохова, бездельника и болтуна...

Я прибил к окну. В крохотную промоину, похожую на ясную лдынку, протаившую в окне, можно видеть мир. Мела поэмка. Голая ветла за окном просматривалась одиноко, виден по ту сторону пешеходной тропы камень-валун. Неожиданно вышел к камню некто в черном доголом платье и поднял руку. Невольно я оглянулся. Сжавшись в комочек, Евгений спал, по-детски распутив израненное лицо. Припав к окну, смотрел я в глаза пришельцу. Минуты начали отстукивать высоко и тревожно.

По мере того, как смеркалось, высветилось над Его головой легкое облачко, будто закатный луч осиял на ущербе. Он немо смотрел в лдынку окна. Благодать домашности обволакивала, и я почувствовал на плече отцовскую руку. Значит, призывы мои к Нему достигли Его.

Он встал с камня. Смежив веки, стоял, потупившись. Крыло вечерней зари спокойно меркло за Его спиной. Он поднял взор, посмотрел в глаза мои долго, кивнул и растаял в сумерках, и сразу опала заря.

Утром нянька вошла в палату и, опрятно поздоровавшись, подала китайский термос. Я сказал, что она ошиблась, термос предназначен Евгению Трусову.

— Тебе, — отвечала нянька. — Твоя фамилия Черных? Значит, тебе. От жены. Она ждет в тамбуре. Сейчас принесу чашки, чтоб освободить термос и вернуть. Что сказать-то бабе?

Проговариваясь и выдавая неразумной няньке тайну моего заточения, я попросил:

— Скажи, я здесь.

— А где ж тебе быть? А горячее принесла, значит, помнит о тебе.

Уговорив Евгения, я поднял недужного с кровати, мы стали есть, обжигаясь, домашние пельмени.

— Значит, мои знают, где я, — сказал я безумцу. — Значит, те женщины и мужик, побельщики, не побоялись, отнесли записку по адресу. Значит, Иркутск не упал, и никакой Андроппов не повяжет нас, Женя.

Безумец немо смотрел в глаза и кивал согласно. Родимый ты мой.

Через час примчался доктор, и призвали меня немедленно в его кабинет.

— Борис Иванович, как в Иркутске узнали, что вы здесь? — подрагивая бровями, щеками, носом, спросил он.

— У КГБ спрашивают. Утечка секретов идет с высоких этажей. Но, ради Бога, ничего не бойтесь. Что вам может грозить? Ничто не грозит вам.

— Но нянька приняла безропотно пельмени...

Бедный, бедный доктор.

Скоро я увидел омских опричников с мятущейся искоркой в блудливых глазках: они повержены в недоумение. Ловко вывезли живого человека из Иркутска в Омск и можно заживо хоронить, и вдруг нá тебе!

Одолов невидимый барьер страха, скоро доктор пригласил тайного пациента и заявил вслух: «Почитайте. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Я прочитал диагноз, хотя можно было и не читать. После разглашения ситуации играть с огнем решился бы только отъявленный негодяй.

— Завтра или послезавтра вас увезут в институт Сербского, будут делать вид, что для того и несут на

**В одну
из ненастных ночей
Луиза, жена Евгения,
обратилась в грифа.
— Клянусь, я никогда
не подойду к ней.
По животу у нее
сизые перья...**

крыльях, чтобы безошибочно диагностировать. Но в Серпах уже едва ли смогут побороть мой диагноз.

Я сдержанно благодарю психиатра и прошу разрешения посмотреть том Ивана Бунина на докторском столе. На самом деле я беру листок бумаги и, пользуясь паузой, пишу: «Я доверяю вам и хочу оставить тетрадку. Лет через десять, коли не найду вас, найдите моего сына и передайте». Доктор кивком головы обещает соблюсти просьбу. Из-за пазухи я вынул тетрадку школьную и отдал ему.

Так попал я в фантастическое положение. Опять самолет понес меня над страной, и черная «Волга» тащила, как клыча, по улицам Вавилона и втащила в ворота дворца, они раскрыли зев и следом захлопнулись, учтивые офицеры вели по ковровым дорожкам. Я разглядывал, куда попал, в какое подземное царство. Сокамерники сообщили, что в Лефортове, я благоговейно смолк, услышав шаги Александра Исаевича Солженицына и дыхание, Марина, прекрасного Твоего Глеба (Солженицын далеко, а Глеб рядом). В бетонных двориках я пытался на прогулке вынюхать запахи Твоего дома, но тщетно. Зато в Серпах, когда врачи поставили на выстойку лицом к окну, я всмотрелся в городской пейзаж и поплыл. На балконе дома напротив я увидел незабвенного Лена Карпинского. Лен курил и тоже смотрел в мою сторону. Много лет назад мы сетовали с улыбкой, нет ли в затее поселить Карпинского окнами на институт имени Сербского дурного умысла держать постоянно перед одним из главных оппозиционеров страны зеркало судьбы, пусть гипотетической в принципе, но с точностью расчислить будущее никто бы из нас тогда не взялся... Блистательный ум, философическая оснащенность и основательность — и опыт, да, пусть опыт функционера в диковинном государстве, но опыт бесценный. Надо выдержать, Лен, надо устоять; мы еще пригрозим России в лучшем качестве сыновей горемычных, преданных ей до гроба. Мы никогда не удалимся в Палестины, слышите, господи. Мы готовы уйти в скит на время, но вы не дожидаетесь, что мы уйдем с этих балконов, откуда открывается страшный вид на Зазеркалье. Мы остаемся...

А помнишь, Лен, тот разговор, когда «Известия» пришли с сообщением: никому не ведомый провинциал из Ставрополя избран секретарем ЦК партии, всего-навсего одним из пяти или семи секретарей? И ты сказал: «Если он поднимется и не сорвется, он начнет реформы».

— Почему ты уверен, Лен, что именно он начнет?

— Когда я был секретарем ЦК комсомола, а он секретарем крайкома, мы успели обстоятельно поговорить о России. Он понимает, что Россию надо поднять.

— Допустим, он сдвинет Россию. Тяжелая на подъем, она сдвинется с места и пойдет. Но куда?

— К миру, Боря. Мы ушли от мира, отгородились стеной. Вернемся к миру и, оставаясь собой, начнем путь национального преобразования.

— О, красиво-то как! Но каждому придется принять личное решение. Ты готов к нему. Я готов. А мужики годами, десятилетиями бьют баклуши на общественном производстве. Они согласятся принять решение и пойти на личную долю, один на один с ветром в поле?

— Выбор будет!

— А вчерашние соратники объявят его Лжедмитрием, предателем и проч... Между прочим, придется доктрину менять.

— Коммунизм придется преодолеть, как преодолевают болезнь.

— А ты? Ты носил такую святую веру...

— Тяжелая доля — унять хворь, которую успел полюбить и считать здоровьем. Он тоже будет преодолевать болезнь на ходу.

— Господи, каких только собак не навешают на него!

— А главное, потребуют сказать, зачем приходил. Но его уже не будет...

Если суждено нам встретиться, Лен, я выведу тебя на балкон твоего дома, откуда ты сейчас смотришь, тоскуя, и расскажу о шведке Тальке, которая спасла меня в Серпах — спасла в прямом, непереносном смысле: будучи психиатром, она поставила безошибочный диагноз о начавшемся воспалительном процессе в печени и в палате Серпов успела уколами вытащить меня из тюремной могилы.

Прапрадед ее, плененный Петром I под Полтавой, оставил ветвь в чужой державе...

Так вернулся я на иркутскую землю духовно окрепшим, почувствовав поддержку невидимых сил. А в стенах тюрьмы администрация неожиданно продемонстрировала презрительное отношение к гебистам... До суда меня более не испытывали камерами рецидивистов. Однако за стенами тюремного замка продолжался поединок. Но об этом противостоянии я расскажу позже, а сейчас уйдем с кровавой площадки — в ближние леса.

Окончание следует.

Мы заканчиваем публикацию «Писем из провинции» («Озимей») Бориса Черных.

Перед вами последнее письмо. Свообразный итог предыдущим раздумьям, биографическим линиям. Завершение исповеди. Ограниченность журнальной площади не позволила нам опубликовать все шесть писем целиком.

Пятое, ненапечатанное письмо «Озимей», посвящено проблеме русского конформизма. «Но, сшибая ветеранов с ног, ринулись к трибунам самозванцы.

Глядя в желчные их глаза, я спрашивал себя: эти ли дни мы звали?»

Перед читателем проходит череда масок — осведомитель КГБ, «заложивший» в 1966 году талантливому журналисту из Владивостока, редактору молодежной газеты Валентину Юдину. Профессор пединститута, отчислявший студентов за вольнодумство уже при перестройке, доносивший на них «куда следует».

Писатель-черносотенец, травивший таланты, ставший впоследствии народным депутатом. Но не только скользкие типы, которые сумели примазаться к власти, становятся героями прозы Черных. Писатель исследует почву конформизма. Его физиологию.

«Внедрение приспособленцев во все структуры новой власти не только в провинции, но и в столице, центростремительно.

Скоро они оседлают многоговорящих российских лидеров, спевшись для начала, — а жизнь не успеет поднять к кормилу подлинных вождей, опять мы окажемся в межеумочном положении...»

Письмо шестое, и последнее

Пророчествовать на Руси стало прибыльным делом. Не хочу и не могу пророчествовать. Здесь, в шестом письме, я намерен сказать, чем жива Россия вопреки всему, хотя разруха, постигшая ее, превзошла апокалипсические прозрения Достоевского и предвидения авторов «Вех». Ныне в повестку дня встали сложные задачи. Но застрельщики, или проводники, дня нынешнего ужасающе оторваны от почвы. Под почвой я разумею не огород с баней на задах усадьбы, а обычное право, неписанные нормы которого потрясены, но все равно формируют национальный уклад.

Однажды я был приглашен амурским войсковым атаманом на казачий круг. Наслушавшись в Метрополи о казачьих играх да начитавшись заполошных московских опасений об урядницкой нагаечке, мы с братом не без иронии вошли в сумятицу событий, подготовленных инициаторами круга.

Зачем Амурское войско поднимать из праха? Куда надевать советскую власть в левобережных селах, если казачье самоуправление восстановит свое достоинство? Пойдут ли гураны на заимку или останутся в колхозах? На вопросы мои Георгий Николаевич Шохирев отвечал ясно и просто: «Может ли быть река с одним берегом? Во! А они семьдесят лет водили за нос народ, и мы поверили, что у Амура один берег, и тот затянут в колючую проволоку»¹.

¹ Проволока снята только у станции, а вниз и вверх по течению колючая ограда тянется на сотни километров. Примечание сделано в апреле 1992 года. — Автор.

Борис ЧЕРНЫХ

ОЗИМИ

...Приготовился ли партаппарат к неожиданному повороту событий в тишайшей из российских земель? Поначалу было ощущение заготовленного сценария, и крутились кадровые функционеры, пресса отмалчивалась, застигнутая врасплох возрожденческим движением снизу. Шохирев вел себя скромно.

Скоро круг вошел в непредсказуемую борьбу самолюбий и позиций, и я заметил, как атаман ожил и поднялся, вырос. Диво дивное, из дальней станицы, не обученный трибуной лукавым ее прихотям, Шохирев тем не менее чувствовал себя в седле...

Удерживать булаву в достойных руках помог Совет стариков. А откуда он взялся, право, столь крепкий в убеждениях и принципах, забытых толпою? Из многострадальных далей пришли эти старики, поднявшие ветхие регалии и мундиры, и оказались в рост событию. Совет стариков повел себя круто и пренебрег аппаратными наставлениями и увещеваниями; в обстановке открытой борьбы ветераны предрешили победу над посланцами партии. В иных русских землях, кажется, вышло навыворот. Но и там скоро все вернется на круги своя, если перевертыши не сойдутся в стаю.

Стояли благословенные солнечные дни. Мы бродим по городу. С китайской стороны красный цвет полотниц заметно потускнел, а в Благовещенске полно узкоглазых купцов, цены они заламывают сумасшедшие. На набережной Амура то тут, то там мелькают белые и черные папахи, и светятся желтыми молниями лампасы широких шаровар. Рядом с родителями шествуют отроки в казачьей форме. Здесь и маленький Шохирев, в сапожках и при погончиках, милый мальчонка, не догадывающийся, что над головой отца занесена смертельная секира.

Для моего брата, Геннадия Ивановича, июльские дни на родине были днями позднего прозрения. Фронтоник, всю жизнь носивший в военном билете портрет генералиссимуса, он очнулся, увидев своих ровесников, и вдруг вспомнил о казачьей родословной.

Я познакомил брата с бывшим капитаном Амурского гражданского флота Владимиром Михайловичем Шатковым. Шатковы из древа кожевников, чья упряжь, чемоданы, обувь чистой кожи пользовались спросом в Хабаровске и Харбине.

Шаткова знает все Приамурье не только в качестве капитана сухогруза, но и в ореоле страдальца: в разгар афганской авантюры Владимир Михайлович, спасая сына от участия в несправедливой войне, перешел Амур и попал из огня да в полымя. Скоро два китайских офицера бежали в Россию — и державы устроили обмен. Здесь Шаткова-старшего ждало испытание на излом: его заточили в благовещенскую тюрьму-психушку, выдержал пытку, но тяжело возвращается в прежнее состояние. Разум его ясен и чист, но сердце подорвано. Спасает относительно устроенный быт — у Владимира Михайловича крепкий наследственный дом, богатый огород. Толя с внучкой навещают отца и деда.

Шатков-старший пристально следит за эпопеей возрождения казачества, он встретил нас счастливым вздохом:

— Не чаял дожить. Поднимается Россия. И казаки слово свое еще скажут. Но прежде всего они вернут Приамурье к земле, так я думаю, — да будет по Шаткову. Земля всему голова.

Поднятые Муравьевым-Амурским, предки наши пришли сюда из забайкальских степей, оседлали пашни, раскорчевали леса, возвели тысячи заимок, развели крупный рогатый скот. Когда П. А. Столыпин отстоял идею Амурской железной дороги — а ему противодействовали в этом социал-демократы, — край процвел не только экономически, но и нравственно. В областном архиве я отыскал ежегодные отчеты Войскового атамана правительству: по всему русскому берегу (сотни станиц, посадков, поселков) не

было преступлений. Год за годом ни грабежей, ни насилий, ни воровства. Лишь единичные случаи конфузных историй, связанных с ханьшином, китайской водкой, приводятся в докладных. Не знали станицы ни поджогов, ни идеологических расправ. Торговля с китайцами шла через таможи, но казачьи заставы смотрели сквозь пальцы, когда разноплеменные торговцы осуществляли соседские связи. Не межгосударственный правовой режим господствовал здесь, а обычай, при негласном верховенстве права. Амур бороздили грузовые и пассажирские пароходы. Зейская долина, житница Дальнего Востока, кормила хлебом обширный край. Теперь бывшее стало мифом, ибо у реки оказался один берег.

Мы прощались с атаманом Шохиревым, не допуская мысли, что расстаемся навеки, он одарил меня удостоверением амурского казака под номером первым, я был растроган. Я сказал ему, что постараюсь вернуться на родину, а он взял с меня слово, что я напишу об амурских казаках работу, которой достойны предки. «Смотри, — напутствовал Шохирев, — не опоздай».

По прибытии на Волгу я не мог забыть его прощальной речи, а утром 19 августа, услышав по телефону о танках на улицах Москвы, с душевным трепетом понял, что Георгий Шохирев прозревал угрозу нашим лучшим надеждам. Что ж, оставалось стоять.

Чиновник Ярославль затаенно выжидал развития событий: я посожалел, что отдал руководство газетой в другие руки. Но мы собрались всей редакцией, приняли обращение, написанное мной, — «Нет перелому». После небольшой заминки твердо прорезал голос председатель областного Совета Александр Веселов. Мы были с ним в контрах — он считал, что газета, во главе которой поставили отсидента, ведет себя слишком независимо, — но 19 августа подтвердило мою правоту, мы встретились и примирились. Веселов гарантировал, что, куда хватит сил, «Золотое кольцо» будет выходить ежедневно. Мы подняли тираж в розницу, газету расхватывали в киосках и с рук в первые минуты. Прекрасно повел себя Юлиус Колбовский, заместитель Веселова.

Диковинно — не прерывалась связь с Москвой. Я предложил Лену Карпинскому, чтобы остановленные «Московские новости» воспользовались нашими газетными площадями. Лен согласился, мы выслали в столицу гонца и успели дать разворот — эти страницы останутся в истории, как и то, что говорили мы сами. Вообще эти четыре дня были звездными для провинциальной интеллигенции, но раздвоение положило черту между охранительными и творческими ее слоями.

С Львом Дмитриевичем Растегаевым, здешним руководителем Демократической партии, мы вошли в кабинет первого секретаря обкома КПСС А. Калинина. Ставленник номенклатурных кругов города Рыбинска, Калинин в дни путча попытался консолидировать коммунистов на платформе Крючкова и К², отобрал у демократов Дом политпросвещения, собрал директоров заводов и потребовал «усилить воспитательную работу в пролетариате», и ему удалось кое-что. (На второй день мы попытались пробиться на моторный завод, там десятки тысяч народу, но плотный кордон не пропустил на территорию моторного. То же было на судоремонтном.)

Но с Растегаевым мы вошли к первому секретарю обкома, когда дело ГКЧП было проиграно, и я увидел, что они не способны даже достойно уйти. Калинин походил на раздавленного червя, и мне стало невольно его жалко...

Но и на Амуре, и здесь, на Волге, сохранялось ощущение двойственности происходящего; пытаюсь постигнуть ее природу, я написал статью «Мы вышли из партии, но партия не вышла из нас», — в роковые дни надо было стоять, мы стояли, но далее мы оказались в не лучшей ситуации: победителей, кото-

рые должны преследовать побежденных, — я оказался не готов к роли гонителя, а голос Собчак из Петрограда о неэтичности поиска ведьм укрепил меня в сознании невозможности преследовать коммунистов.

Но 19 и 20 августа я, как некогда Николай Михайлович Карамзин, алкал пушечного грома, дабы он смел красную нечисть с русской земли.

Когда крючковская авантюра захлебнулась, мы с Майей вышли к набережной. Медлительные барки и многопалубные пароходы несли теплые бортовые огни, у пирса торговали шашлыками и пивом в розлив; у памятника Некрасову смеялись дети. А тяжесть в сердце не отпускала. У меня было предощущение тектонического сдвига по всей огромной России, и я несильно верил, что взошедший на танк с бумажкой в руках Ельцин справится с разломом. С танка не говорят по машинописному тексту. Следовательно, думал я, наш герой не Дмитрий Пожарский.

Кто же тогда умиротворит Казань в самом центре России? Кто достойно ответит господину коммунисту Кравчуку, который заявил права на священные камни Севастополя? Но, не видя разлома, не желая признать угрозы распада России, нашего родового гнезда, самозванцы от демократов продолжают твердить лишь о правах человека и упрекают государственных, пренебрегающих опытом Соединенных Штатов. Можно подумать, что в войне Севера и Юга американцы боролись лишь за права черного меньшинства, а не за единство страны.

Пришел черед сказать о величии России. Нам, а не отсидевшимся в теплых квартирах и креслах патриотам принадлежит это право. Мы взяли его кровью и мужеством, мы не уронили себя по кочегаркам и Ботаническим садам, по тюрьмам и политзонам. Вернулся бы на родину Солженицын, нации нужен отец. Не медли, отче...

Двадцать третьего августа, посетив Москву, я увидел обезумевше-счастливый город. Я не выдержал и пошел туда, куда повлекла народная река, — к Манежной и Красной площадям... На Манежной с высокой трибуны кликушески зывали к духу... Тельмана Гдьяна. Нашли Козьму Минина! Я немедленно покинул Москву и вернулся на хутор. Зрительный образ мучил меня: у реки остался один берег, и на том берегу с каменного пьедестала говорит следователь прокуратуры, праведник с блудливыми глазами.

Хутор не сразу, но вернул присутствие духа. Иван Кравцов, с весны вырвавшийся то косою, то плотницким топором (топор он давал, вздыхая: «Ни баба, ни топор в иные руки не дается, Иваныч»), прибегавший не раз с жадной опохмелиться, на сей раз трезв был как стеклышко. Мы осмотрели вначале его уголья, они были тучными, и стояли зароды свежескошенного сена за селом.

— Почему ты, Иван, не выйдешь из совхоза? У тебя все получается и сыновья выросли? — спросил я его.

— Выйти недолго, — сердито отвечал Кравцов, — а оне в Москве передерутся и погонят нас снова на обчий коровник. Как быть, Лизавета?

«Как быть, Лизавета?» — любимая его присказка. Лизавета — супруга Ивана, сильная, но кроткая женщина, быстрая, однако не суетливая, всегда молчаливая, но стоит Ивану перебраться, она начинает его пилить принародно, на что Иван смиренно отвечает: «Как быть, Лизавета?» — полное признание фатальной безысходности, и Лизавета понимает безысходность, одновременно подчеркивая, что судьбу не переберешь, как старое прясло. А трезвый Иван — чистое золото мужик. Дети Твои, Марина, были бы сейчас с молоком и сметаной, если бы Иваны Кравцовы сделали окончательный выбор и предпочли вольное землепашество. Потому что не сметана и не молоко предшествуют свободе частного лица, а свобода частного лица есть условие изобилия на прилавке. Но ни свободы лица, ни сметаны не будет — а именно этого пока не поняли демократы, — если крепкая власть в единой и целостной России не воплотится в явь.

Назавтра Иван пришел с ответным визитом, чтобы оценить мой первый опыт в Даниловском уезде. Я малость смутился, ибо не успел убрать с гряды побитые августовской ядовитой росой помидоры, вызревшие на кусту. Иван немедленно раскритиковал меня. Я сослался на события, отвлекшие в Ярославль и в Москву. Мужик отвечал, что события событиями, а главное — огород, я не посмел оспорить суконную правду.

Но Иван увидел развернувшиеся огромные уши табака и уцелевшие после нападения тли вилки капусты, оценил и гирлянды жестяных банок, оборонивших картошку от диких кабанов, — и одобрил поселенца.

Пока я хвастался огородом, прошли мимо усадьбы смурные мужики, притормозили и осмотрели недобрый взглядом дом.

— Вишь, — высказал предположение Иван Кравцов, — ты у них бельмо в глазу. Живешь вольно, и дом у тебя барский.

— Знаешь, кто такие?

— Известное дело, шебруны.

— Кто, кто?

— Дармовым живут. Настригут белых грибов — и на Даниловский рынок. Шебруны и есть.

— Грибы летом. А зимой что они делают?

— Зимой в примаках и в берлогах. Легкий народец, не приведи Господь.

— Может, я бы и ушел с-под совхоза, — продолжая отвечать на вчерашний вопрос, говорил Иван, сворачивая самокрутку (с сигаретами в очередной раз начался кризис), — но опять сомнение. Ране больного отца сын прибирал, а кто теперь прибирает старика?

— Община деревенская, — отвечал я. — У казаков община создает фонд и ведет одиноких до могилы.

— Вишь, община, — думно согласился крестьянин. — А у нас каждый сам по себе. Как быть, Лизавета?

Он откланялся, но за воротами сказал: «Надо жить здесь зимой и баню срубить. Потому топор я тебе дарю, Иваныч», — и пошел лугом к Уздечке, снял на ходу яблоко, оглянулся, красивый, трезвый Иван всегда красив в неполные свои пятьдесят лет.

Жива и будет жива Россия, покуда есть у нее Иваны Кравцовы.

Я надеялся, что событийный ряд 91-го года исчерпан, и сидел до обеда за письменным столом. Майя закатывала в банки соленья и варенья, после обеда приходил я на помощь.

Как некогда в Ботаническом, я сортировал овощи, чтобы зимою знать, откуда что взять. Боясь шебрунов, мы сняли яблоки и рассыпали в горницах по полу. Тонкий и свежий запах антоновки окутывал, едва мы входили в дом. Ночью, потушив свечи — совхоз отрезал электрические подводы на хутор, — мы бормотали и уходили в сон, чувствуя на губах привкус яблочного налива...

Завершая сбор урожая, я опять увидел у ручья смурных пришельцев. Они запалили на стерне костерок.



Спихватившись, подзуженные шебрунами, мы сделали запоздалые набег в лес и приготовили к зиме несколько банок опят.

К восьмому сентября я успел все припасы складировать в холодном подвале с бетонным полом (грызуны не могут проникнуть в подвал). Потом поднялся на чердак и осмотрел следи, увешанные липовым цветом, тысячелистником, ромашкой и корнем калгана (калган накопил по совету Вадима Полторака, настойкой его можно останавливать нутряные недомогания). Нет, голод нам не грозит даже при самом тяжелом кризисе, а главное — теперь у нас все свое и экологически чистое. Я был удовлетворен, хотя урожай дался натужно.

Мы пили прощальный кофе. Неосознанная тревога подняла меня, я собрал черновые листы «Писем из провинции», уложил в рюкзак, хотя, честно говоря, не до рукописи было, — решили вынести к тракту яблоки. Дым костра из-за ручья наплывал на усадьбу, шастал по комнатам, мешаясь с запахом антоновки.

На всякий случай мы забрели к Василию Захарову, его изба неподалеку оставалась единственной обитаемой на выселках. Я оставил ему ключи от дома и просил присмотреть за усадьбой. Василий обтесывал бревна, собираясь подвести новые венцы.

Через день сосед наведлся к нам, вошел в горницу, чистые полы смутили деликатного мужика. Сочтя запах антоновки лучшим свидетельством благополучия, он вернулся к плотницким делам.

А назавтра утром поднялся над теремом столб огня и дыма, и к обеду предощущаемая мной жизнь вдаль от сует и городской нищеты ушла прахом в осеннее небо.

Вот и не погостила Ты с девочками в тишайших из лесов, Марина. А Глебу в хуторском застолье не успел сказать я заветных слов, которые в Москве не смогу произнести.

Перенесши удары более жестокие, я изготвился философически принять и этот удар. Мечтая всю жизнь о загородном доме, я прошел круги ада, чтобы на реабилитационные деньги купить этот сказочный терем и потерять его в одночасье.

Сожгли мой домик в Ботаническом саду Иркутского университета, там кому-то мешало вещественное напоминание о судьбе изгнанника. Пришел черед и здесь вдохнуть гарь пожарища...

Я маялся, скитаясь по улицам Ярославля. Надо было удалиться к внукам, или к Вадиму Полтораку, или к Шаткову на окраину Благовещенска, но кружил я в заколдованном кругу: Волга, причалы, Знаменские ворота, — повсюду преследовал горчичный запах пепелища, смешанный с нежным запахом антоновских яблок. Приехали дочь с внучкой и дежурили около, когда я не смог встать. В лазарете счет пошел на ампулы, из которых янтарная влага часами стекала в вены. Доктор сказал, что меня поднимет сильный характер, и характер поднял меня. Но на смену пришла другая, невнятная тревога.

...Телеграмма не заставила ждать себя. В ней было тринадцать слов: «Мой дом и усадьба в Черняево сожжены маньяком. Лежу в районной больнице. Шохирев».

Я попросил дочь взять из малых резервов деньги, отправить в Черняево и обратился в амурские газеты кликнуть на помощь семье атамана всех, кто откликнется. Зима на Амуре неровня мягкой зиме на Волге, и надвинулись морозы, а городской крыши у Войскового атамана не было. А власти бездействовали. Благовещенцы же мне сообщили, что Шохирев убивается по старинным атрибутам казачьего уклада, он собирал их всю жизнь.

Издали, не зная всей меры потрясения, я тоже надеялся на сильный характер Шохирева и уговорил себя потихоньку вернуться к столу, к «Письмам».

В канун Нового года пришла еще одна телеграмма: Шохирев скончался — на больничной койке.

Из областной администрации на мой запрос о помощи семье погорельца все же отозвались: «Необходимое сделано», — необходимое надобно было сделать, пока дышал атаман. Но и за то спасибо. Есть надежда, что мальчик в белой папахе, Коля Шохирев, вырастет и продолжит дело отца.

*Не жизни жаль с томительным дыханьем.
Что жизнь и смерть? — А жаль того огня,
Что просверкал над целым мирозданьем
И в ночь идет, и плачет уходя.*

P. S. Недавно, но на сей раз из Иркутска, я получил конверт. Вскрыл его. Там лежала вырезка из молодежной газеты, первостраничное сообщение: «...В кровавых вильнюсских событиях замешан генерал КГБ Федосеев, депутат России, ставленник Сибири...»

Поздноватое прозрение, ребяташки. Но лучше поздно, чем никогда, — и берега сойдутся у русских рек.

ПОЭЗИЯ

Валентин БЕРЕСТОВ

ПОКАЯНИЕ

Уж если искать виноватых,
Я сам повиниться готов.
Ну как не сказать о ребятах
Заклятых тридцатых годов.

Мы пели, как «горы сдвигает»,
«Меняет течение рек»,
«По полюсу гордо шагает»
Советский простой человек.

И Мудрый, Родной и Любимый
Входил в наши песни и сны.
И пели мы, как херувимы,
На празднестве у сатаны.

СТАРАЯ ОРФОГРАФИЯ

И снова Русь зовут святою,
Санкт-Петербург возник опять.
Нет только ижицы с финою,
«И» с точкою и буквы «ять».

Крушили вечные устои,
Спешили все ломать и мять.
А свергли ижицу с финою,
«И» с точкою и букву «ять».

МОНАСТЫРЬ САН-МАРКО ВО ФЛОРЕНЦИИ

И у каждого скромная келийка,
Свет в оконце, очерченный резко.
И руки фра Беато Анджелико
Вместо нашего телека — фреска.

Поглядишь, и душа — именинница.
Аскетизм так похож на беспечность.
Монастырь — это та же гостиница
По дороге из вечности в вечность.

«Все богатства изъять! Без изъятия!
Бросьте лишнее в пламень веселый!»
Так решит эта скромная братия
С настоятелем Фавонаролой.

ГОРАЦИЙ

Гораций бросил щит перед врагом
И с поля битвы ринулся бегом,
Спасая этим собственную шкуру
И древнеримскую литературу.
Но правду о себе («я, дескать, трус») —
Бесстрашно возгласил любимец муз.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Он сохранил и взгляд, и облик свой,
Но для меня он — памятник живой
Тому, каким его я полюбил,
Каким казался он, каким он был.

РАЗГОВОРЫ С АХМАТОВОЙ

О счастье — на рассвете юных дней
Смешить Ахматову, смеяться вместе
с ней!

«Нет, совести не видно в вас
ни капли.

Ведь я — Ахматова, не Чарли Чаплин.
Прочтите обо мне в энциклопедии:
Я склонна к пессимизму и трагедии!»
Тут с Чаплиным особенная связь:
В один и тот же год она с ним
родилась.

Смех, как и плач, тут просто
неизбежен.

И поводы для них одни и те же.

КАРАМЗИН В ОСТАФЬЕВЕ

И прежде чем возникнуть на
странице,

Войти в очередной заветный том,
Они — митрополиты и царицы,
Купцы, дьяки, злодеи и провидцы —
Спешили пред историком явиться
В остафьевской аллее за окном.
Они пред ним незримые витали
И громкие шептали имена,
Куда бы он ни шел, сопровождали
В усадебной тиши Карамзина,
И наяву являясь и во сне,
Чтоб он вернул Историю стране.

Ведь страны без прочитанной
Истории —

Не страны, а всего лишь
территории.

*По дороге
из вечности
в вечность*